

## 2.

...Первый же шаг по Алеутской улице окунул его в сумасшедший мир беспрестанного, бессмысленного гомона машин и людей. Неловко зазевавшись при переходе улицы, он чуть отстал от основной толпы и тут же почувствовал толчок сзади. Не удержавшись на ногах, полетел навзничь и, кажется, ударился головой о бампер так неудачно поторопившегося автомобиля. Словно что-то сработало от боли в сознании, и он некоторое время растерянно оставался сидеть на холодном асфальте, пока вокруг сочувственно толпились прохожие. Потом кто-то помог ему подняться и отвёл чуть в сторону, к ограде небольшого сквера. Фёдор просил прощения за неловкость и, отряхивая пальто, всё повторял:

— Всё в порядке, я, пожалуй, пойду...

Кто-то, поддерживая его под руку, ещё некоторое время стоял подле и сожалел. Он несколько минут бессмысленно поворачивал головой в разные стороны, не припоминая того места в котором оказался, потом долго стоял, опершись об ограду, затем побрёл с людским потоком, продолжая напрягать сознание.

...На железнодорожном вокзале недолго бесцельно толкался среди многоликой бесстрастной публики, суетящейся у билетных касс. Бессмысленно выходил на перрон к отходящим электричкам, словно встречал кого-то или, наоборот, провожал. Потом выходил на площадь и подолгу стоял на ступеньке вокзального входа, наблюдая за людьми и машинами, щурился вверх на явно знакомую фигуру ускользнувшего вдруг из памяти важного человека с монумента, что взмывал поднятой рукою в весеннее небо. Казалось, кто-то обязательно должен повстречаться ему именно здесь, в галдеже привокзальной площади или в толпе приезжих, кто-то знакомый и близкий, может быть, даже родственник, хоть один родной человек должен быть здесь среди шумного многолюдья. Со стороны, конечно же, он выглядел несколько странным, рассеянным, словно потерянным или растерявшимся пассажиром.

...После встречи с первым же полицейским он легко отделался парой сотен рублей, поскольку был трезв и не вызывал особого подозрения в бродяжничестве. Недурственное, добротное демисезонное пальто, приобретённое ещё в давние советские времена, довольно приличная норковая шапка, правда, чуть потёртая сзади воротником, на ногах приличные, пусть и не совсем по погоде, полуботинки и бритый подбородок, упирающийся в воротничок чистой клетчатой рубашки, придавали ему некоторый импозантный вид, внушающий доверие. А главное, у него нашлась эта пара сотенных. Он уверил стража порядка, что к вечеру должен уехать в Уссурийск, и тот почему-то ему поверил.

Случившаяся вскоре тут же, на вокзале, встреча с бомжами закончилась для него тоже мирно. Но после неё, потом

после недели ночёвок в каком-то подвале он стал выглядеть бездомным опустившимся стариком. Пальто невероятным образом превратилось в замусоленный ватник, прокуренный и прожжённый в нескольких местах, на ногах теперь у него были резиновые сапоги, хотя и отвечавшие прохладе, но как-то уж совершенно нелепо сидевшие на нём нынче, зябким апрельским утром. Небритый подбородок теперь просто прижимался к голой груди, поскольку, поёживаясь, он втягивал голову в плечи; на голове клоунским колпаком, чуть прикрывая макушку, торчала вязаная шапчонка, неуклюже скатанная тюрбаном, из-под которой высовывались уши, замёрзшие, побуревшие и не ощущающие холод вообще. Под ватником у него теперь была лишь майка; зато снизу на нём были суконные, должно быть флотские, брюки, одной штаниной заправленные в сапог; на втором сапоге голяшка была до половины разорвана, и штанина в нём не держалась. Вообще, теперь он выглядел совсем не для встреч с полицией, а главное, карманы его одежды были пусты...

Что-то плохое и непонятное творилось с памятью. Временами он вдруг явственно понимал, что какой-то случай вырвал его из понятной, привычной жизни, определив ему плохое, нечеловеческое существование в незнакомом, чужом месте. Но, напрягая мысль, пытаясь до конца уяснить своё положение, тут же утрачивал способность понимать случившееся и, боясь потерять себя окончательно, просто, привязавшись к одному из бездомных бродяг, безвольно следовал во всём за ним. Это была его удача — сдружиться с долговязым бородатым верзилой, одетым... в знакомое пальто.

Словно извиняясь, Фёдор часто повторял своему покровителю:

— Я скоро уеду... я должен ехать.

— Как только, так сразу... и поедешь, — насмешливо отвечал верзила.

И пару недель спустя действительно это сразу... случилось — этот сердобольный старожил подвала посадил его на электричку.

...О чём думал Фёдор, пускаясь в такое рискованное путешествие? Над чем размышлял, вглядываясь в незнакомые окрестности посёлков и деревень, мелькавших за окнами электрички? Какое неодолимое чувство увлекало его в неизвестность от дома, от родных и близких? И вообще, какая сила, какая страсть уводит так часто людей в неведомое пространство, в пустынь, в глушь, в забытый скит, в неизвестность?..

Мучился, силясь заставить работать свою голову, перебирал события, пытаясь отделить в памяти своё от постороннего, так невообразимо вдруг перемешавшееся в сознании в непонятную картину знакомой и тут же чужой жизни.

...Бывало, подумывал перебраться, вернее, вернуться в деревню, как-то осесть, успокоиться, обрасти, как говорят, на одном месте. Пенсию худо-бедно заработал, дети, кажется, свою тропку торят. Пусть не совсем как виделось, но живут своим трудом, внуков растят, не пропадут, должно быть. До пенсии Фёдор как-то и не думал о том, как время коротать станет, будучи «вольным казаком». Жил, впрягшись с женой с самой юности в скрипучую колесницу, что зовут люди семьёй, домом — хозяйством, одним словом. Думал, так и должно быть, как у всех нормальных людей, — от получки до получки, от недели к неделе, от года к году. С утра — автобусная толчея, проходная, мастерские, привычная роба, промасленные верстаки, ключи-гайки, череда лиц в цехе, привычных и знакомых, кажется, с самого детства. После работы — вновь автобус, магазин, где в его обязанности входило покупать хлеб, квартира в хрущёвке, пусть не совсем на европейский лад, но не халупа какая-нибудь, чисто, опрятно — всё благодаря хлопотам работающей жены. Не заметили, как и жизнь к окончанию своему подобралась. Ну, не без радостей, конечно, не без случайностей хороших или плохих иногда. В выходные дни — гаражные заботы с выдавшим виды «жигулёнком», летом на участке за городом работы

невпроворот. Всякое бывало, как, впрочем, и у всех людей. Дети, к примеру, рождались — и страх, и радость. А росли как, учились, выросли, болели, выздоравливали, хулиганили — вроде и радости немало, а волнения сколько. Так и «прорадовались» до шестидесяти, не заметили как. Всё в отпуск по-человечески собирались выбраться куда-нибудь. Да всё не случалось: то дети малы ещё, то дело какое не сделано до конца, то «перестройку» народ задумал, то на какие шиши выбраться. Всё это было ему близко и знакомо, всё касалось именно его, всё было в памяти, всё чередой переходило из картины в картину в голове, но вот лица детей бессмысленно смешались в череде многих и многих, и ещё, как он ни силился, никак не мог вспомнить имя жены.

...С электрички Фёдор под неприязненными взглядами пассажиров сошёл, как ему показалось, на знакомой станции. Перебрался через железнодорожное полотно и спустился с насыпи к посёлку. Вслед ему долго смотрел с привокзальной площадки дежурный по станции. Растревожив поселковых собак во дворах, скоро миновал посёлок, затем долго, уверенно шёл луговиной, словно помнил или наверняка знал дорогу. К вечеру, обогнув небольшое озерцо с низким пологим берегом, недолго пробирался чуть приметной тропкой свозь калиновую чащобу, потом как-то вдруг оказался на берегу у шалаша. Добротный этакий балаган, специально сработанный полуземлянкой ещё, вероятно, с прошлого лета. С лицевой стены сложен камнем на глиняной связке, чуть углублённый в песчаный берег остов из ивовых кольев, сверху крепкие жерди скатом на одну сторону, накрытые плотно снопами прошлогоднего камыша. У шалаша, под защитой каменной стенки, чуть тлеющий костерок. Вкусно потягивает дымком. Вокруг никого не видно. Подумав: «Хозяева где-то недалеко...» — Фёдор присел на щербатую, выбеленную дождями и ветром лесину. Живот под фуфайкой урчанием напомнил о втором голодном дне.

...Припомнилась весенняя картинка из заводской биографии. Дело в начале марта. Ещё далеко до тепла, а потому ветрено, серо и зябко. У заводской проходной девчонка годов пятнадцати продаёт стаканом жареные семечки. До конца рабочего дня осталось минут пятнадцать-двадцать. Девчонка расположилась прямо на тротуаре у высокой бетонной стены забора, где затишек, и опускающееся блёклое солнце, чуть согревая, не даёт совсем замёрзнуть. На ней лёгкое пальтецо, вязаная шапочка, такие же шерстяные самодельные варежки, на ногах стоптанные сапожки какого-то странного грязно-синего цвета. У ног раскрытый полиэтиленовый мешочек с лоснящимися чёрными семечками, в нём утопает наполовину наполненный стакан. За стеной затихает судоремонтный завод. Из проходной, не торопясь, потянулся рабочий народ.

Девчонка, вероятно, давно бы замёрзла, если бы не надоедливая пара воробьёв да поползень, вертящиеся под ногами. Эти три вёрткие птахи так и норовят растащить всю её торговлю. Юркий, с синевой вдоль спины, дятлик похитрее — взлетит на забор и выжидает, подёргиваясь и подпрыгивая вверху у девчонки над головой. Воробьи, те по-хулигански берут наглостью — налетают с двух сторон. Пока незадачливая «продавщица», сердито покрикивая, отгоняет одного, другой успевает-таки утащить пару семечек. А вот когда девчонка отвлекается сразу на обоих серых разбойников, со стены мгновенно слетает поползень и, не мешкая, лезет в мешочек и успевает раза два-три клонуть, прежде чем девчонка заметит в семечках отчаянного вооружения. Наконец, понимая, что с птицами таким образом не справиться, она бросает им горсточку семечек чуть в сторону на тротуар. Маленькие попрошайки действительно минуты на две-три отвлекаются от привлекательного заветного мешочка. Но, быстро поклевав семечки на дороге, птички вновь принимаются надоедать, совершенно не обращая внимания на выходящих из проходной людей.

Торговля пошла быстрее, было видно, семечки берут уже потому, что торгует смешная девчонка, ругающаяся с

птицами. Кто-то, взяв стакан, тут же бросил горсть на землю, следующий сделал то же самое. И вскоре вдоль тротуара копошится уже не три птицы, а небольшая подвижная стайка уплетает проворно нежданно свалившийся знатный ужин. Рабочие останавливаются, берут у девчонки семечки и кормят птиц. На усталых лицах тихие улыбки. И будто ветер притих, и серое небо, словно приподняв посветлевший край, пропустило к земле больше солнца, и потеплел чуть воздух, и жизнь показалась вполне достойной и привлекательной.

...От воспоминаний оторвал лёгкий плеск вёсел. Из-за рыжей занавеси прошлогоднего камыша показалась небольшая смолёная плоскодонка. В ней — старик: седая стриженная борода, залысины в полголовы, светлые выцветшие глаза под нависшими бровями, сухие обветренные кисти рук с застарелой синевой татуировок.

Фёдор стал извиняться:

— Дед, ты уж извини. Я тут без тебя костёр эксплуатирую. Забрёл вот случаем, гляжу, никого нет. Не помешаю?..

Старик причалил лодку, не спеша выбрался на берег, вытаскивая следом неуклюжую ивовую мордушку, в которой, судя по плеску, билось с десятков мелких рыбёшек.

— Да ты уж помешал, внучок, чего теперь извиняться?

Фёдор, чуть смутившись, пояснил:

— Да я не задержусь. Перекурю малость и дальше подамся...

Старик степенно выпрямился:

— Конечно, подашься. Если, разумеется, есть куда и к кому. Человек всегда уходит, если есть зачем... — вытащил из лодки снасть и вытряхнул содержимое её прямо на землю. — Но если не очень торопишься, то жди уху. Нынче в озере ещё хорошей рыбы нет, холодно ещё. Но мы и мелкой не побрезгуем, верно ведь?..

Он глянул из-под косматой брови на бомжеватый вид Фёдора и хмыкнул:

— Ну ты и обносился, паря! Да ты и не внучок вовсе, а ровесник...

— Наверно, — смутился ещё больше Фёдор. — За деда извини, за бородой не сразу усмотрел сверстника.

— Значит, оба деды...

Старик принялся чистить гольяшек. Угадав в Фёдоре горожанина, упрекнул:

— В города поразбежались за хорошей жизнью. Ну что, нашли? На что жизнь положили? А теперь зачем нищим вернулся? На худшую нищету посмотреть? На места голые, запущенные? А ты думал, что тут кто-то за тебя работать будет, строить, землю пахать? Нет, брат, некому тут было пахать. Я вот один, как мог, пахал, да весь ныне вышел.

— Не много-то и ты напахал, гляжу я... — чуть съязвил Фёдор.

— И то правда. Нам же как хотелось — чтобы воля неоглядная за порогом и всякий тут тебе комфорт европейский, вместе всё да сразу. А так не бывает. Должно быть что-то одно. Вот сегодня комфорт, ватерклозеты всякие верх взяли. В большие городища народ подбили работать. Небывальщиной, что всем всего хватит, поманили. Я вот никогда этому не верил. Не поддаюсь, волей живу без комфорта. Хотя и понимаю: людская силища там... в городах. Только вот правая ли она, не знаю. Сомнения у меня всю жизнь. Вижу, и ты нынче в сомнениях?..

Фёдор чуть помолчал, словно подтверждая догадку собеседника, потом, кивнув на синеву наколок на его руках, спросил:

— Отметины времён не лучших или так, юношеское шалопайство?..

— Всяко было, — ответил коротко, показалось — чуть зло, и замолчал.

Так и молчали, пока варилась ушица, не глядя друг на друга, каждый думая о своём. Через час за едой как-то сам собой завязался разговор.

— Припомни, как перестройку затеяли, как делёж устроили, как от большого общего пирога кое-кому неплохо

перепало, побежал народ в церкву за оправданием такой ситуации, а кто и за объяснением чуда своей кой-какой состоятельности. Но попы-то тоже люди и тоже не все принимают такой расклад несправедливости, потому тоже разделятся. Одним волей-неволей придётся в церковной правде лазейку для богатеев искать, да и самим стяжать, чтоб уровень с такой паствой быть. А как же иначе понимать друг дружку будут? На том и договорятся, знамо дело. А вот кто Христа сердцем принял, своё о бедности да праведности гнуть будет, о справедливости мысль затаит, потому и воспротивится где втайне, где явно. На том и разойдутся во мнениях... — старик был рассудителен и прост.

Фёдор задумчиво, не совсем вникая в суть, спросил:

— Раскол, значит?..

— Ну, раскол не раскол, а только ладу не будет. Так всегда было. Сверху своя правда, снизу своя. Разница, видишь ли, в самом принципе жизни. У кого много чего привалило, тому ещё больше нужно, чтобы это много при себе удерживать. Такое уж правило, такой закон, без которого всё это многое очень быстро ни во что превращается. Много ли сам, в одиночку, осилишь, сотворишь? Так себе. Сколь сил у одного-то? Потому силу других многих приспособить в прибыток нужно. Другого не дано. Либо отбери, либо обмани, либо укради у других, только тогда прибавишь к тому многому, что досталось вдруг. Тогда лишь не сокращается состояние, и тогда лишь действует и далее закон этот самый... экономический. Но самое простое по нашим временам — это заставь других работать на себя. Всё нынешнее положение, весь способ жизни так устроен, что сам идёшь и отдаёшь свою силушку в чужую состоятельность. А как по-другому? По-другому с голоду помрёшь, что при социализме, что при капитализме — без разницы. Так вот кому прибыток, тот закон этот несправедливый блюдёт и охраняет. Для того в этом смысл, направление и закон самой жизни, самое важное и обязательное благое дело. А тот, у кого прибытка нет и одна лишь трата сил, видит в таком раскладе совсем не благо, и всё время в законе этом изъян ищет, и всё

подумывает, как изменить его в свою сторону. Народы, как и люди в отдельности, каждый со своей особой судьбой, характером, фартом или, наоборот, неудачей. У каждого своя дорога, своя доля, своя цель. Одному на роду дано барином фанфаронить, нос задравши, на других поглядывать да покрикивать. Другому смирение судьба положила, степенство, а то ещё застенчивость, скромность. У каждого народа свой норов. Один в богатеи лезет, брюхо бы набить до отвала, жилы рвёт, никого не жалея, а другому душа дороже, воля сердцу любезнее, даже и натошак. Всегда разница в том, что один живёт, работая на других, от них же и получая взамен свой достаток, полагая в том правильность и справедливость. Другой же не ждёт, а берёт сам, да с избытком, да ещё и поторапливая тех, у кого взял. Ещё добавлю, что и государства, как люди, в отдельности каждый пробиваясь к состоятельности, одни ставят задачу благополучия для всех, другие ограничиваются лишь собственной обеспеченностью. Вот в этом и заковырка, раздрай. Какую задачу нынче поставила перед собой Рассея? Кем и, главное, какой хочет быть? Советы развалились без особой грызни, без крови явной и бессмысленной, а вот доведись менять ныне систему — уже без кровушки не обойтись. Вона какую армию надзирателей и телохранителей выкормили, а вооружили как!.. Сколь деньжищ на то угрохали — уймища! Всех нищих кормить — дешевле обходилось бы...

Выслушав такой долгой монолог, Фёдор усмехнулся:

— Ну ты расфилософствовался — видать, заскучал по разговору тут в одиночку...

Старик ещё более оживился:

— Философия не философия, а думки всегда есть. Вот скажи мне: почему в прошлом веке за коммунистами народ пошёл?

— Ну, допустим, не все пошли, были и против... — Фёдор вдруг отчётливо вспомнил памятник с устремлённой вперёд рукою на вокзале во Владивостоке, и чувство облегчения чуть тронуло изболевшееся за последние дни сердце.

После этой реплики старик вновь зарядил надолго:

— Были, да уплыли. Кто сам, а кому и помогли. Но дело-то всё в том, что к тому времени несправедливость в народе такая случилась, что терпежу ни у кого не осталось. Нищеты расплодили так много, что права оказалось именно она, нищета. Веру, что объясняет кое-что да кое-когда в народе, на тот момент забыли-забросили и богатые, и бедные. А вот коммунисты объяснили почти по Христу, что и как, и склонился народ к такому объяснению: работать всем в один котёл, лишнего не желать, а сколь надо — со-обща всегда сделать просто. Когда развал да разброд, такая простота — спасение и самое правильное решение во всякой суматохе, в любой заварухе. Войну, к примеру, смогло победить только поколение, увлечённое идеей индустриализации, только упёртые в необходимость лишений и обязательность всеобщего труда. Это когда наработают чуток, когда достаток придёт да лишнее прибавится, тогда и думать по-другому станут: как бы это лишнее пригреть, поближе к себе приспособить. Вот нынче о Сталине на все лады разговор. В основном пустое всё, так... для отвода глаз. И тиран, и культ, и всякое такое прочее. Это о любом мало-мальски большом человеке можно говорить. А вот по существу-то говоруны помалкивают. Сталин-то из семинаристов, хоть и недоучка. А там... скромности учат, воздержанности, справедливости. А какая же справедливость, если кое-кто, чуть оклемался народ, стал под себя грести? По Христу, правда, в этом случае сам откажись, не стяжай, глядишь, и другой за тобой последует, верой учи, скромностью, смирением. Но вот тут у Сталина с Христом разлад. Желая того же, что и стяжатели, только якобы для всех, правой силой надумал от алчности отучать. А сила-то у такой правоты всегда сомнительная. Да и противная сила всегда изловчится, потому как от лукавства да от подлости происходит. С того и идёт делёж, сначала тайный, а потом уж и явный. Ныне разделились уж. Теперь опять нищета числом прирастать будет. Таков уж закон. Сколько времени верх с низом делиться будет, чтобы более-менее мирно жить, — неизвестно. Должно быть, пару поколений. Тут

зависит от людей, понимающих ситуацию и пытающихся придержать стяжателей, совестить да укорять. Но закон стяжательства неумолим: живёшь и процветаешь, лишь когда гребёшь под себя. Чуть ослабил — тут же потерял. Самое яркое проявление этого закона — неприкрытый грабёж или, как ныне называют, рэкет. Хамоватый да наглый, ничем не прикрываясь, берёт силой. Даже на убийства идёт, организуя целые банды.

— Согласен, было уж так. С самого начала большевиков люди прежнего толка корили да предупреждали, что всё одно к старому вернётесь, ведь строите, мол, то же самое — сытно есть, сладко спать, поменьше работать, побольше верховодить. Так и вышло, не избежали соблазна и коммунисты, под себя подгрести, чуть обуржуазились — и тью-тью, конец братству-равенству, — соглашаясь, далее Фёдор спросил, не пряча усмешки: — Ты так раскладываешь по полочкам, словно сам и в богачах, и в бандитах пробавлялся?..

— Всяко пришлось. Но, к слову о законе общественном, — действует он принципиально одинаково среди всех в народе. Грабёж и банды ради стяжательства — самое яркое проявление его. Общее хозяйство разграбили, делить по-своему принялись, свою кривду правой назначили, подпевалам кусок посытнее положили, на том и порешили, что сильны. А оно вишь в чём дело — сила-то не в мошне, не в достатке избыточном, не в сытости, а в простоте неприметной, в ясности доверчивой, душевной, в понятливости, в открытости. Противление этому закону тоже есть всегда, и самое явное тому подтверждение — такие же группы в нищей среде, преследующие цель не стяжать вообще...

Продолжение следует